

Гай Дойчер

ПЕРЕКРЕСТОК ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКА



ПОЧЕМУ НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ
МИР ВЫГЛЯДИТ ЭНАИ

НАУКА

ВЕК

Наука XXI век

Гай Дойчер

**Сквозь зеркало языка.
Почему на других языках
мир выглядит иначе**

«Издательство АСТ»

2010

УДК 81'22
ББК 81

Дойчер Г.

Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе / Г. Дойчер — «Издательство АСТ», 2010 — (Наука XXI век)

ISBN 978-5-17-083711-3

Книга «Сквозь зеркало языка» – один из главных научно-популярных бестселлеров последних лет. Почему в некоторых культурах синий и зеленый цвета обозначаются одним и тем же словом? Почему Гомер называл море «виноцветным»? Почему коренные жители Австралии вместо «правый» и «левый» говорят «западный» и «восточный»? Как язык определяет образ жизни человека и судьбу народа? Остроумная и блестяще написанная книга одного из самых известных современных лингвистов – настоящий подарок для всех, кто интересуется жизнью языка и разнообразием человеческой культуры. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 81'22

ББК 81

ISBN 978-5-17-083711-3

© Дойчер Г., 2010
© Издательство АСТ, 2010

Содержание

Пролог	6
Язык как зеркало	12
Язык как призма	19
Часть I	20
Глава 1	20
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Гай Дойчер
Сквозь зеркало языка: почему на
других языках мир выглядит иначе

Guy Deutscher

Through the Language Glass: Why the World Looks Different in Other
Languages

© Guy Deutscher, 2010

© Перевод. Н. Жукова, 2014

© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

Пролог

Язык, культура и мышление

В Талмуде сказано: «Четыре языка хороши, чтобы использовать их: греческий для песни, римский для битвы, сирийский для плача и еврейский для разговора»¹. Другие авторы были не менее решительны в своих суждениях о том, для чего пригодны разные языки. Император Священной Римской империи Карл V, король испанский, эрцгерцог Австрии, владевший несколькими европейскими языками, признавался, что говорит «по-испански с Богом, по-итальянски с женщинами, по-французски с мужчинами и по-немецки со своей лошадью».

Язык народа, как нам часто говорят, отражает его культуру, психологию и образ мышления. Люди в тропическом климате беспечны настолько, что вполне закономерно растеряли почти все свои согласные. И достаточно только сравнить мягкие звуки португальского языка с резкостью испанского, чтобы понять суть разницы между этими двумя соседними культурами. Грамматика некоторых языков попросту недостаточно логична для выражения сложных идей. С другой стороны, немецкий язык – идеальное средство для максимально точного формулирования философского глубокомыслия, это очень упорядоченный язык, поэтому и сами немцы мыслят весьма упорядоченно. (Но разве не слышен в его безрадостных, лишенных изящества звуках прусский шаг?) В некоторых языках нет будущего времени, поэтому их носители, естественно, понятия не имеют о будущем. Вавилоняне с трудом поняли бы название «Преступление и наказание», потому что на их языке для описания того и другого использовалось одно и то же слово. Скалистыми фьордами веет от резких интонаций норвежского языка, а в скорбных мелодиях Чайковского можно расслышать твердое русское «л». Французский – не только романский язык, но и язык романов. Английский слишком легко приспосабливается, можно сказать, что это язык с неразборчивыми связями, а итальянский... ох уж этот итальянский!

Многие застольные беседы украшаются подобными виньетками, потому что мало какие темы более пригодны для размышлений, чем характер различных языков и их носителей. И однако стоит эти возвышенные наблюдения перенести из веселой пиршественной залы в стильный холод лаборатории, как они тут же опадут, как пена анекдота – в лучшем случае забавного и бесцельного, в худшем – демонстрирующего нетерпимость и глупость. Большинство иностранцев не могут уловить на слух разницу между горной Норвегией и бесконечными шведскими равнинами. Трудолюбивые датские протестанты обрели на свою ледяную, открытую всем ветрам почву больше согласных, чем любое праздное тропическое племя. И если мышление немцев систематично, то с тем же успехом это могло бы быть из-за того, что их чрезвычайно прихотливый родной язык так измотал их умственные способности, что они не справились бы с дополнительными неправильностями. Говорящие по-английски могут подолгу беседовать о будущем в настоящем времени («I'm flying to Vancouver next week... – Я лечу на той неделе в Ванкувер...»), ничуть не теряя способности воспринимать будущее. Нет такого языка – даже у самых «примитивных» племен, – который по своей природе непригоден для выражения самых сложных идей. Некоторый недостаток языковых возможностей для философствования сводится просто к нехватке специализированного словаря абстрактных терминов и, возможно, каких-то синтаксических конструкций, но их можно легко набрать так же, как все европейские языки унаследовали свой набор философских инструментов из латыни, которая, в свою очередь массово заимствовала их из греческого. Если бы носители любого племенного языка озаботились этим, они и сегодня легко могли бы сделать то же самое, и можно было бы без

¹ Иерусалимский Талмуд, трактат Сота, стр. 30а. וַאִילּוּ הֵן. אַרְבַּעַה לְשׁוֹנוֹת נֹאִיִן לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּהֵן הָעוֹלָם. סוֹרְסִי לְאִילֵי עֵבְרִי לְדִיבּוֹר. אַרְבַּעַה לְשׁוֹנוֹת נֹאִיִן לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּהֵן הָעוֹלָם. וַאִילּוּ הֵן. אַרְבַּעַה לְשׁוֹנוֹת נֹאִיִן לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּהֵן הָעוֹלָם. לְעוֹ לְזִמְרָה רֹמִי לְקָרֵב

труда рассуждать по-зулусски о сравнительных достоинствах эмпиризма и рационализма или разглагольствовать о феноменологии экзистенциализма на западногренландском.

Если бы размышления о нациях и языках витали только над аперитивами, их можно было бы извинить как безобидные, хоть и бессмысленные, развлечения. Но вышло так, что с этим предметом веками упражнялись также могучие ученые умы. Философы всех стран и направлений становились в очередь, чтобы заявить, что каждый язык отражает качества народа, который на нем говорит. В XVII веке англичанин Фрэнсис Бэкон объяснял, что можно «на материале самих языков сделать достойные самого внимательного наблюдения выводы о психическом складе и нравах народов, говорящих на этих языках»². «Все это подтверждает, – соглашается веком позже француз Этьен де Кондильяк, – что каждый язык выражает характер народа, который на нем говорит»³. Его более молодой современник, немец Иоганн Готфрид Гердер, разделяет это мнение: «В каждом языке отпечатлелся рассудок и характер народа. У деятельных народов – изобилие наклонений, у более утонченных наций – множество возведенных в ранг абстракций свойств предметов»⁴. Коротко говоря, «гений народа более всего открывается в физиогномическом образе его речи»⁵. Американец Ральф Уолдо Эмерсон в 1844 году подытожил: «Вывод о духе народа мы в большой степени делаем на основании его языка, что сродни памятнику, в который всякий чем-то замечательный индивидуум вложил хотя бы один камень».

У этого впечатляющего интернационального единодушия есть одна проблема – оно рушится сразу же, как только мыслители переходят от общих принципов к размышлению о конкретных свойствах тех или иных языков и о том, что эти лингвистические свойства могут рассказать о качествах конкретных народов. В 1889 году слова Эмерсона были заданы как тема для сочинения 17-летнему Бертрану Расселу, когда тот учился на подготовительных курсах в Лондоне, готовясь ко вступительному экзамену в кембриджский Тринити-колледж. Рассел глубокомысленно заявляет: «Мы можем изучать характер народа по идеям, которые лучше всего выражает его язык. Например, французский содержит такие слова, как *spirituel*⁶ или *l'esprit*⁷, смысл которых по-английски едва ли можно выразить вообще; откуда мы можем сделать вывод, подтвержденный реальными наблюдениями, что у французов больше *esprit* и они более *spirituel*, чем англичане»⁸.

С другой стороны, Цицерон делал ровно противоположные выводы из отсутствия слова в языке. В трактате «Об ораторе» (*De oratore*⁹, 55 г. до н. э.) он произносит длинную проповедь об отсутствии греческого эквивалента латинского слова *inertus* (означающего «неуместный» или «бестактный»). Рассел заключил бы, что у греков были такие безупречные манеры, что им просто не требовалось слово для описания несуществующего явления. Не таков был Цицерон: с его точки зрения, отсутствие слова доказывало, что этот порок был так широко распространен среди греков, что они его даже не замечали. Язык римлян и сам нередко подвергался порица-

² Пер. Н. Федорова. – Здесь и далее постраничные примечания принадлежат переводчику, если не оговорено иное. Bacon 1861, 415 (*De dignitate et augmentis scientiarum*, 1623, book 6: *Atque una etiam hoc pacto capientur signa haud levia [sed observatu digna quod fortasse quispiam non putaret] de ingeniis et moribus populorum et nationum, ex linguis ipsorum*). (Рус. изд. – Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. М.: Мысль. Редакции философской литературы, 1977.)

³ Пер. И. Шерн-Борисовой. Condillac 1822, 285. (Рус. изд. – Кондильяк Э. Б. Сочинения в трех томах. М.: Мысль. Редакции философской литературы, 1980.)

⁴ Пер. А. Михайлова. Herder 1812, 354–355. (Рус. изд. – Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977.)

⁵ Пер. тот же. Emerson 1844a, 251.

⁶ Духовный, одухотворенный (фр.).

⁷ Дух (фр.); о других значениях этого слова см. ниже.

⁸ Russell 1983, 34.

⁹ Цицерон о слове *inertus*: *De oratore* 2, 4.18. (Рус. изд. – Цицерон М. Т. Три трактата об ораторском искусстве. М.: Наука, 1972.)

нию. Примерно через двенадцать столетий после Цицерона Данте Алигьери в своем труде «О народном красноречии» (*De vulgari eloquentia*) дает обзор итальянских диалектов и заявляет, что «речь римлян – не народная, а, скорее, убогая – безобразнее всякой другой итальянской народной речи; да это и неудивительно, потому что и уродством своих обычаев и одежды они явно отвратительнее всех остальных»¹⁰.

Никто даже в мыслях не имел подобных настроений по отношению к французскому языку, который не только романтичен и *spirituel*, но также, конечно, образец логики и ясности. Мы это знаем благодаря не кому иному, как самим французам. В 1894 году знаменитый критик Фердинан Брюнетьер сообщил членам Французской академии по случаю своего избрания в это прославленное учреждение, что французский язык – «самый логичный, самый понятный и ясный язык, на котором когда-либо говорил человек»¹¹. Брюнетьер в свою очередь обосновал это авторитетом длинного ряда знатоков, включая Вольтера, который в XVIII веке утверждал, что уникальность гения французского языка состоит в его ясности и упорядоченности¹². А сам Вольтер обязан этим прозрением потрясающему открытию, сделанному на целое столетие раньше, точнее в 1669 году. Французские грамматисты XVII века¹³ десятилетиями пытались понять, почему французский язык обладает ясностью превыше всех прочих языков в мире и почему, как заявил один из членов академии, французский одарен такой ясностью и точностью, что простой перевод на него имеет эффект настоящего пояснения. Наконец после многолетних трудов в 1669 году Луи ле Лабуруер обнаружил, что ответ – сама простота языка. Его мучительные грамматические изыскания показали, что, в отличие от носителей других языков, французы «во всех высказываниях точно следуют ходу мысли, и это есть порядок Природы»¹⁴. Ну и нечего удивляться, что французский не может быть непонятным. Как позднее сказал мыслитель Антуан де Ривароль: «То, что непонятно, может быть английским, итальянским, греческим или латынью»¹⁵, но *ce qui n'est pas clair n'est pas français* («что непонятно – то не французское»).

Не все интеллектуалы мира, однако, согласны с этим анализом. Столь же искушенные мыслители – довольно странно, что в большинстве своем не из Франции, – придерживались иного мнения. Известный датский лингвист Отто Есперсен, например, был уверен, что английский язык превосходит французский по целому ряду признаков, включая логику, так как, в отличие от французского, английский – это «методичный, энергичный, деловитый и серьезный язык, который не слишком заботится о пышности и элегантности, зато придает значение логичности»¹⁶. «Каков язык, таков и народ», – заключает Есперсен.

Великие умы оказались еще более плодовиты, когда перешли от вопроса, как язык отражает характер его носителей, к более важному вопросу о том, как язык влияет на мыслительные процессы его носителей. Бенджамин Ли Уорф, к которому мы вернемся в одной из следующих глав, околдовал целое поколение, утверждая, что наша привычка расчленять мир на объекты

¹⁰ Пер. Ф.А. Петровского. Dante, *De vulgari eloquentia* 1.11. (Рус. изд. – Данте Алигьери. Малые произведения. М.: Наука, 1968.)

¹¹ Brunetière 1895, 318.

¹² Вольтер об уникальном французском духе: *Dictionnaire philosophique* (Besterman 1987, 102): Le génie de cette langue est la clarté et l'ordre: car chaque langue a son génie, et ce génie consiste dans la facilité que donne le langage de s'exprimer plus ou moins heureusement, d'employer ou de rejeter les tours familiers aux autres langues. (Рус. изд. – Вольтер. Философские сочинения. М.: Наука, 1988.)

¹³ Французские грамматисты XVII века: Vaugelas, *Remarques sur la langue françoise, nouvelles remarques*, 1647 (Vaugelas 1738, 470): la clarté du langage, que la Langue Françoise affecte sur toutes les Langues du monde. François Charpentier 1683, 462: Mais ne conte-t-on pour rien cete admirable qualité de la langue Françoise, qui possedant par excellence, la Clarté & la Netteté, qui sont les perfections du discours, ne peut entreprendre une traduction sans faire l'office de commentaire?

¹⁴ Le Laboureur 1669, 174.

¹⁵ Rivarol 1784, 49.

¹⁶ Jespersen 1955, 17.

(например, «камень») и действия (например, «падать») не есть правдивое отображение реальности, но лишь искусственное разделение, навязанное нам грамматикой европейских языков. Согласно Уорфу, языки американских индейцев, в которых существительное и глагол сочетаются в одном слове, диктуют «монистический взгляд»¹⁷ на вселенную, поэтому их носители просто не поймут нашего различения между объектами и действиями.

Спустя поколение Джордж Стайнер в своей книге 1975 года «После Вавилона» пришел к выводу, что «традиции предварения в нашем синтаксисе», наше «проговариваемое будущее», или, другими словами, существование будущего времени глагола, – то, что дает нам надежду на будущее, спасает от нигилизма, даже от массового самоубийства. «Если бы наша система времен была менее прочной, – сказал Стайнер, – мы бы могли не выдержать»¹⁸. (На него не иначе как снизошло пророческое вдохновение, поскольку ежегодно вымирают десятки языков, в которых нет будущего времени.)

Совсем недавно один философ произвел революцию в нашем понимании истории Тюдоров, выявив настоящую причину разрыва Генриха с папой. Он установил, что англиканская революция была не результатом отчаянного желания завести наследника, как это обычно преподносится, и не циничной уловкой, направленной на присвоение церковных богатств и владений.¹⁹ Рождение англиканской теологии было неизбежно из-за свойства английского языка: поскольку английская грамматика занимала промежуточное положение между французской и немецкой, то и английская религиозная мысль оказалась на полпути между (французским) католицизмом и (немецким) протестантизмом.

* * *

По высказываниям о языке, культуре и мышлении кажется, что крупные мыслители в своих *grandes oeuvres* не слишком далеко ушли от мыслителей мелких с их *hors d'oeuvre*²⁰. Можно ли надеяться, что при столь неаппетитной предшествующей истории из дискуссии получится что-то съедобное? Если отделить несостоятельное и невежественное, нелепое и фантастическое, останется ли что-то осмысленное, что можно сказать о соотношении между языком, культурой и мышлением? Отражает ли язык культуру общества в каком-то более глубоком смысле, чем такие мелочи, как количество слов для обозначения снега или стрижки верблюдов? И что еще более спорно – могут ли разные языки приводить своих носителей к разным мыслям и восприятию?

Для большинства серьезных ученых сегодня ответ на все эти вопросы – гулкое «нет». Доминирующая точка зрения среди современных лингвистов такова, что язык есть прежде всего инстинкт, другими словами, основы языка закодированы в наших генах и одинаковы для всего человечества. Как блестяще доказывал Ноам Хомский, марсианский ученый²¹ заключил бы, что земляне говорят на диалектах одного языка. Как гласит его теория, все языки в своей основе объединены одной и той же универсальной грамматикой, общими подразумеваемыми понятиями, одинаковой степенью системной сложности. Поэтому важны (или по крайней мере заслуживают исследования) только те аспекты языка, которые раскрывают язык как выражение внутренней природы человека. Наконец, общее мнение таково, что если наш родной язык и

¹⁷ Whorf 1956 (1940), 215. (Рус. изд. – Уорф Б. Л. Наука и языкознание // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960.)

¹⁸ Steiner 1975, 167, 161.

¹⁹ Английская грамматика как причина англиканской революции: Harvey 1996.

²⁰ Игра слов: *grande oeuvre* по-французски означает и «фундаментальное произведение», и алхимическое «великое искусство» (т. е. превращение металлов в золото), и «основное блюдо» (трапезы). Именно в последнем значении оно противопоставляется *hors d'oeuvre*, что в кулинарном контексте означает «закуска», а в более общем – «нечто излишнее, необязательное».

²¹ Piattelli-Palmarini 1983, 77.

влияет на то, как мы думаем, то это влияние пренебрежимо мало, тривиально – и в основном мы все думаем одинаково.

На следующих страницах, однако, я попытаюсь убедить вас – возможно, вопреки первоначально сложившемуся мнению и, уж конечно, вопреки модному сегодня академическому подходу, – что ответ на вышеприведенные вопросы – «да». В своей речи в защиту культуры я буду доказывать, что культурные различия отражаются в языках очень глубоко, а растущий массив научных исследований убедительно показывает, что наш родной язык может влиять на то, как мы думаем и воспринимаем мир. Но прежде чем вы переставите эту книгу на одну полку с другими безумцами, между последним сборником кулинарных рецептов знаменитостей и руководством «Как подружиться с золотой рыбкой», я дам вам торжественное обещание, что мы не будем потакать беспочвенному пустословью какого-либо рода. Мы не будем навязывать «монистический взгляд» на какие-нибудь вселенные, мы не будем воспарять до горделивых вопросов вроде того, в каком языке больше *esprit*, и не станем погружаться в загадки, какие культуры более «глубинны». Проблемы, которые будут занимать нас в этой книге, совсем другого рода.

На самом деле вопросы культуры, которыми мы займемся, относятся к самому приземленному уровню обыденной жизни, а интересующие нас аспекты языка лежат на том же уровне повседневной речи. Потому что, оказывается, самые значительные связи между языком, культурой и мышлением надо искать там, где меньше всего ожидаешь, в тех местах, где здравый смысл предполагает, что все культуры и все языки должны быть совершенно одинаковы.

Культурные отличия высокого уровня, которые мы сразу замечаем – в музыкальном вкусе, половой морали, требованиях к одежде или застольных манерах, – все в каком-то смысле поверхностны, именно потому, что мы их так остро замечаем: мы знаем, что порнография – это лишь вопрос географии, и мы не питаем иллюзий, что люди по всему земному шару разделяют одни и те же предпочтения в музыке или одинаково держат вилки. Но культура может оставлять более глубокие отметины там, где мы не опознаем их как таковые, где ее традиции столь неизгладимо врезались во впечатлительные юные умы, что мы выросли, принимая их за нечто совершенно иное.

Чтобы все эти утверждения обрели хоть какой-то смысл, нам надо сначала расширить понятие культуры за пределы его обычного использования в повседневном языке. Какова ваша первая реакция на слово «культура»? Шекспир? Струнные квартеты? Изящно оттопыренный мизинчик руки, держащей чашку? Естественно, то, как вы понимаете «культуру», зависит от вашей собственной родной культуры – как покажет беглый взгляд сквозь призму трех толковых словарей.

Английский:

Культура – культивирование, состояние культивирования, улучшение, результат культивирования, тип цивилизации.

Словарь английского языка под ред. У. Чамберс, Р. Чамберс

Немецкий:

Культура – *Gesamtheit der geistigen und künstlerischen Errungenschaften einer Gesellschaft* (все интеллектуальные и художественные достижения общества).

Большой толковый словарь немецкого языка под ред. Г. Штерига

Французский:

Культура – ensemble des moyens mis en oeuvre par l'homme pour augmenter ses connaissances, développer et améliorer les facultés de son esprit, notamment le jugement et le goût (совокупность средств, используемых человеком, чтобы увеличивать его знания, развивать и совершенствовать умственные способности, в частности суждения и вкус).
Словарь французского языка ATILF²²

Несомненно, многие возразят, что мало что лучше подтверждает укоренившиеся стереотипы о трех великих европейских культурах, чем то, как сами они определяют концепцию «культуры». Разве определение Чамберсов – не сама квинтэссенция английскости? Довольно непрофессиональное в своем ни на что не претендующем списке синонимов, вежливо избегающее любых неудобных определений. А что может быть более немецким, чем немецкое определение? Нещадно доскональное, чрезмерно заумное, оно беспощадно вбивает понятие в голову. А французское? Высокопарное, безнадежно идеалистичное и одержимое le goût²³.

Когда о «культуре», однако, говорят антропологи, они используют это слово в совершенно ином смысле, нежели в определениях выше, и в гораздо более широком значении. Научная концепция «культуры» возникла в Германии в середине XIX века, но четкое определение ей впервые дал английский антрополог Эдуард Тайлор в 1871 году. Его основополагающий труд «Первобытная культура» начинается со следующего определения, которое и по сей день цитируют во введении в данный предмет:

«Культура в широком этнографическом смысле слагается в своем целом из знания, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества»²⁴. Культуру здесь понимают как все человеческие черты, которые проявляются не как инстинкты, – другими словами, как синоним воспитания и противоположность «природе». Таким образом, культура охватывает все аспекты нашего поведения, которые эволюционировали как социальные условности и передавались через обучение из поколения в поколение. Ученые иногда говорят даже о «культуре у шимпанзе», когда отдельные группы этих обезьян используют камни и палки иным способом, чем в соседних группах, и когда можно доказать, что передача этого умения через подражание вероятнее, чем генетическая.

Человеческая культура, конечно, обычно включает больше, чем палки и камни. Но тип культуры, который нас интересует в этой книге, имеет мало общего с высоким искусством, высшими интеллектуальными достижениями или безупречными манерами и вкусом. Здесь мы сосредоточимся на тех обыденных культурных чертах, которые так глубоко вошли в наше сознание, что мы их как таковые не осознаем. Короче, те аспекты культуры, которые мы будем здесь исследовать, – это те, которые культура замаскировала под человеческую природу.

²² ATILF – «Анализ и цифровая обработка французского языка» (#).

²³ Вкусом (фр.).

²⁴ Пер. Д. Коропчевского. Тулог 1871, 1. (Рус. изд. – Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989.)

Язык как зеркало

Входит ли в эти аспекты язык? Есть ли он артефакт культуры или наследие природы? Если мы рассматриваем язык как зеркало сознания, то какое отражение мы там видим: человеческую природу или культурные традиции нашего общества? Это центральный вопрос первой части данной книги.

С одной стороны, даже постановка вопроса кажется довольно странной, потому что язык – это культурная условность, которая не притворяется ничем, кроме культурной условности. Языки земного шара чрезвычайно разнообразны, и все знают, что конкретный язык, который осваивает ребенок, это лишь случайность, зависящая от той культуры, в которой его утратило родиться. Бостонская малышка будет расти, говоря на бостонском английском, потому что получилось так, что она родилась в среде бостонского английского, а не потому, что несет бостонские гены. А новорожденный пекинец со временем заговорит на мандаринском диалекте китайского языка, потому что растет в окружении мандаринского китайского, а не из-за генетической предрасположенности. Если поменять местами младенцев, то пекинский мальчик в итоге заговорит на правильном бостонском английском, а бостонская девочка будет говорить на отличном мандаринском. Этому факту есть миллионы живых подтверждений.

Более того, наиболее очевидная разница между языками в том, что они выбирают разные имена, или ярлыки, для понятий. А как всем известно, эти ярлыки не претендуют ни на что большее, чем на статус культурных условностей. Помимо нескольких маргинальных случаев звукоподражания, вроде кукушки, где ярлык действительно пытается отразить природу описываемой птицы, огромное большинство ярлыков произвольны. «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее...», хоть *douce*, *γλυκο*, *édes*, *zoet*, *sladká*, *sød*, *hoş*, *makea*, *magus*, *dolce*, *ngọt*, или даже *sweet*. Ярлыки, следовательно, прямо и непосредственно находятся в компетенции каждой культуры и практически ничего природного в себе не несут.

Но что происходит, когда мы пытаемся заглянуть дальше за зеркало языка, за поверхностный слой ярлыков, на понятия, которые скрываются за ними? Так ли произвольны понятия под английскими ярлыками *rose*, или *sweet*, или *bird*, или *cat*, как сами ярлыки? Неужели то, как наш язык кроит мир на понятия, тоже лишь культурная условность? Или это природа прочерчивает для нас заметную границу между «кошкой» и «собакой» или «розой» и «птицей»? Если вопрос производит впечатление довольно абстрактного, подвергнем его практической проверке.

Вообразите, что вы рылись в книгах в глухом углу старой библиотеки и случайно выкопали заплесневелую рукопись XVIII века, которую как будто ни разу не открывали с тех пор, как туда поместили. Она озаглавлена «Приключения на далеком острове Зюфт» и вроде бы, судя по деталям, имеет отношение к загадочному затерянному острову, который автор, по его уверениям, открыл. Вы пролистываете рукопись дрожащими руками и начинаете читать главу под названием «Дальнейшие Сообщения о Зюфтском языке, в которых подробно описываются его Фантастические Феномены»:

«За обедом я набрался дерзости спросить Названия нескольких вещей на их Языке; и эти благородные Особы имели удовольствие дать мне Ответ. Хотя моим главным Стремлением было учиться, трудности оказались почти непреодолимыми, ведь в круг их Мыслей и Представлений не входили такие Различия, которые нам кажутся самыми естественными. К примеру, в их Языке нет Слова, которым может быть выражена наша Идея Птицы, а также нет Терминов, которыми этот Язык может выразить знание о Розе. Ибо вместо них Зюфтский использует одно слово „Птоза“, которое означает белые Розы и всех

птиц, кроме тех, у которых малиновая Грудка, а зато другое слово, „Рица“, объединяет птиц с малиновой грудкой и все Розы, кроме белых.

Ставши еще более словоохотливым после третьего Стакана Напитка, мой Хозяин начал рассказывать Сказку, которую помнил с Детства, о том, как Птоза и Рица встретили свой печальный конец: „Рица с ярким оперением и медвяная желтая Птоза взлетели на высокую ветку и защебетали. Они, конечно, начали обсуждать, кто из них слаще поет. Не сумев договориться, Рица предложила, чтобы их рассудили Символы Красоты среди цветов в саду под ними. Не откладывая, они спорхнули к ароматной Птозе и бутону красной Рицы и смиренно спросили их Мнения. Желтая Птоза напевала нежным голосом, а Рица насвистывала свою веселую мелодию. Увы, ни Птоза, ни Рица не могли отличить каскадные каденции Птозы от трепетных трелей Рицы. Гордые певчие птицы страшно оскорбились. Рица, вспыхнув гневом, налетела на красную Рицу и оборвала все ее лепестки, а желтая Птоза, чье тщеславие было глубоко ранено, с той же горячностью напала на Птозу. И вот оба судьи стояли голыми, с них были сорваны все лепестки, Птоза больше не благоухала, а Рица больше не адела“.

Поняв мое замешательство, Хозяин произнес Мораль, покачав пальцем: „Итак, помните: никогда не путайте Птозу и Рицу!“ Я искренне заверил его, что всячески постараюсь этого не допустить».

За что вы примете этот драгоценный документ? За неизвестный дневник старинного исследователя или утраченное продолжение «Путешествий Гулливера»? Если вы выберете версию вымысла, это, вероятно, потому, что ваш здравый смысл говорит вам, что подразумеваемая зюфтская манера различения понятий совершенно невозможна и что явно неестественно сочетать красногрудых птиц и небелые розы в одном понятии «рица» и объединять остальных птиц и белые розы в понятии «птоза». И если зюфтское различие между рицей и птозой неестественно, английское разделение птицы и розы должно хоть в чем-то быть естественным. Нормальный здравый смысл предполагает, следовательно, что, хотя языки могут лепить совершенно случайные ярлыки, они не могут подходить столь же легкомысленно к понятиям, стоящим за ярлыками. Языки не могут группировать произвольные наборы объектов, так как под одним ярлыком должны собираться одного поля ягоды. Любой язык должен делить мир на категории, объединяющие объекты, сходные в действительности – или хотя бы в нашем восприятии действительности. Так что естественно будет разных птиц именовать как одно понятие, но неестественно собирать под одним ярлыком случайный набор птиц и случайный набор роз.

На самом деле, даже поверхностное наблюдение за тем, как дети осваивают язык, подтверждает, что такие понятия, как «птица», «кошка» или «собака», имеют под собой нечто естественное. Дети задают все возможные (а часто и невозможные) вопросы. Наверняка вы слышали, как ребенок спрашивает: «Мама, это киса или собачка?» А теперь задумайтесь и хорошенько покопайтесь в памяти – и все равно вы вряд ли сможете припомнить, чтобы ребенок спрашивал: «Как понять, это птица или роза?» Детей нужно учить, какие ярлыки закреплены за понятиями в языке окружающих их людей, но их не надо учить различать сами понятия. Ребенку, только начавшему ходить, достаточно увидеть в книжке несколько картинок с кошками, и в следующий раз, когда он увидит кошку, даже если та будет рыжая, а не полосатая, более пушистая, с коротким хвостом, одноглазая и без задней лапы, он все равно опознает ее как кошку, а не собаку, не птицу и не розу. То, что дети инстинктивно овладевают такими понятиями, показывает, что человеческий мозг от рождения обладает мощным алгоритмом распознавания образов, позволяющим группировать сходные объекты. Так что понятия вроде

«кошки» или «птицы» должны как-то соответствовать этой врожденной способности делить мир на категории.

* * *

Итак, похоже, мы нашли простой ответ на вопрос, отражает язык культуру или природу. Мы нарисовали четкую карту и поделили язык на две разные территории: царство ярлыков и страну понятий. Ярлыки отражают культурные условности, а понятия отражают природу. Каждая культура вольна клеить ярлыки на понятия как ей вздумается, но понятия под этими ярлыками были продиктованы природой. Об этом разделении можно говорить долго. Оно ясное, простое и элегантное, оно кажется убедительным и разуму, и чувствам, и, наконец, что не менее важно, у него есть солидная родословная, уходящая в глубину веков, вплоть до Аристотеля, который в IV в. до н. э. писал, что, хотя звуки речи могут различаться у разных рас, сами понятия – или, как он их называл, «впечатления души»²⁵ – одни и те же для всего человечества.

Есть ли возможные возражения против этого разделения? Только одно: оно мало похоже на реальность. Четкая граница, которую мы провели, сделала бы честь старательному картографу, но, к сожалению, не дает точного представления о расстановке сил между государствами на карте. Дело в том, что на практике культура не только управляет ярлыками, но и устраивает постоянные рейды через границу, туда, где должна быть вотчина природы. Различия между некоторыми понятиями, такими как «кошка» и «собака», природа может провести вполне четко, и тогда они становятся в значительной степени неуязвимы для посягательства культуры. Но иногда культурным условностям удается вмешиваться во внутренние дела понятий, сбивая с толку здравый смысл. Насколько глубоко культура проникает в вотчину понятий и как трудно бывает примириться с таким положением дел, станет яснее в следующих главах. А пока мы бегло ознакомимся с несколькими форпостами культуры по ту сторону границы.

Рассмотрим сначала сферу абстрактных понятий. Что происходит, когда мы переходим от простых физических объектов, таких как кошки, птицы или розы, к абстрактным понятиям, таким как победа, справедливость или злорадство? Находятся ли такие понятия в ведении природы? Был у меня как-то приятель, который любил говорить, что у французов и немцев нет разума. Он имел в виду, что в их языках нет слова, аналогичного английскому *mind*, и в некотором смысле был прав: ни во французском, ни в немецком нет единого понятия с единым ярлыком, которое перекрывало бы все значения английского понятия *mind*. Если вы поищете в словаре перевод *mind* на французский, то вам терпеливо объяснят, что он зависит от контекста, и предложат список возможных значений, таких как:

esprit (душевное спокойствие = *tranquillité d'esprit*)
tête (это все в уме = *c'est tout dans la tête*)
avis (по моему мнению = *à mon avis*)
raison (он тронулся умом = *il n'a plus toute sa raison*)
intelligence (с разумом двухлетнего ребенка = *avec l'intelligence d'un enfant de deux ans*)

И наоборот, в английском нет единого понятия, охватывающего весь спектр значений французского *esprit*, что с таким воодушевлением отметил Бертран Рассел. И снова – словарь даст длинный список вариантов перевода на английский, например:

знать (подразумевать) (*avoir de l'esprit* = иметь в виду)
настроение (*je n'ai pas l'esprit à rire* = у меня нет настроения смеяться)

²⁵ Aristotle. *De interpretatione*. 1.16a. «большого количества слов в одном языке»: Locke 1849, 315. (Рус. изд. – Локк Дж. Сочинения в трех томах. М.: Мысль. Редакции философской литературы, 1985.)

ум (*avoir l'esprit vif* = иметь быстрый ум)
дух (*esprit d'équipe* = командный дух)

Итак, понятия вроде «разума» и «духа» не могут быть естественными в том же смысле, что «роза» или «птица», иначе они были бы одинаковыми во всех языках. Уже в XVII веке Джон Локк обнаружил, что в царстве абстрактных идей каждому языку позволено проводить границу между понятиями – или «отдельными идеями», как он их называл, – по-своему. В своем сочинении 1690 года «Опыт о человеческом разумении» он обосновывал этот взгляд посредством «большого количества слов в одном языке, которым нет никаких соответствующих слов в другом. Это ясно показывает, что население одной страны по своим обычаям и своему образу жизни сочло необходимым образовать и наименовать такие разные сложные идеи, которых население другой никогда не создавало»²⁶.

Нет ничего ужасного в передаче этих владений от природы к культуре, пусть даже теперь точную границу между культурой и природой надо как-то передвинуть, чутье нам наверняка подсказывало, что культурные условности участвуют в формировании абстрактных понятий. В конце концов, если бы вместо истории про зюфтские понятия «птозы» и «рицы» рассказ путешественника XVIII века сообщал, что язык зюфтиан не имеет единственного слова, которое соответствовало бы английскому понятию *fair* («честный»), и что вместо него зюфтский использует в некоторых контекстах «справедливый», а в других – «добрый», вряд ли такое сообщение вызвало у нас недоверие.

Но все становится вовсе не так просто, когда выясняется, что культура вмещается не только в царство абстракций, но и в простейшие обыденные понятия. Возьмем местоимения, такие как «я», «ты» или «мы». Может ли что-то быть проще или естественнее их? Конечно, вряд ли человек, знающий о существовании иностранных языков, решит, что ярлыки для таких понятий навязываются природой, но кажется невероятным, что в каком-то языке может не быть самих этих понятий. Предположим, например, что вы продолжаете листать наш роман-путешествие и натываетесь на заявление, что в зюфтском нет слова, соответствующего нашему «мы». Вместо него, утверждает автор, в зюфтском есть три отдельных местоимения: «кита», что означает «только мы двое, ты и я», «тайо», означающее «ты, я и кто-то еще», и «ками», что значит «я и кто-то еще, но не ты». Автор рассказывает, как смеялись зюфтиане, когда услышали, что для трех этих совершенно разных понятий английский использует одно короткое слово, жалкое *we*. Вы можете отмахнуться от такой системы как от несмешной шутки нашего автора, но говорящие на тагальском языке²⁷ филиппинцы не согласились бы с вами, потому что именно так они и говорят.

Впрочем, насилие над здравым смыслом еще только начинается. Естественно, мы надеемся, что хотя бы понятия, описывающие простые физические объекты, все будут в ведении природы. Пока мы ограничиваемся кошками, собаками и птицами, это ожидание и в самом деле по большей части подтверждается, поскольку эти животные разделены природой очень отчетливо. Но как только природа проявляет малейшее сомнение в своих штрихах, культура готова к нападению. Например, рассмотрим части человеческого тела. Среди простых физических объектов, играющих в нашей жизни не последнюю роль, вряд ли найдется нечто более обыденное или осязаемое, чем руки, пальцы, шея. И все же многие из этих якобы четко определенных частей тела не слишком старательно разграничены природой. Например, предплечье и кисть, этот телесный эквивалент таких частей света, как Азия и Европа, – на самом деле один объект («рука») или два? Оказывается, что ответ зависит от вашей культуры. Существует много языков, включая мой родной, которые считают кисть и предплечье одним понятием и используют для них общий ярлык. Если говорящая на иврите женщина сообщает вам, что в

²⁶ Пер. А. Савина.

²⁷ Тагальский (тагалог) – язык одного из основных филиппинских этносов и официальный язык Филиппин. Foley 1997, 109.

детстве ей делали укол в кисть руки (hand), это не потому, что там были врачи-садисты, а просто потому, что она думает на языке, в котором нет такого само собой разумеющегося различия, и она забыла, что надо использовать другое слово для этой части тела, которую англичане не пойми почему называют arm. С другой стороны, был довольно долгий период, когда моя дочь, которая выучила, что yad на иврите означает «рука», громко возражала, когда я использовал это слово применительно к чему-либо между запястьем и плечевым суставом (arm), даже когда мы говорили на иврите. Она показывала на эту часть руки и объясняла мне оскорбленно: «Зе ло яд (это не рука), зе арм (это арм)!» То, что «кисть» и «рука» могут быть разными понятиями в одном языке, но одним и тем же в другом, понять не так-то легко.

Есть и такие языки, которые используют одно и то же слово для «кисти» и «пальцев», а некоторые, вроде гавайского, даже обходятся одним понятием для трех разных английских частей тела arm («предплечье»), hand («кисть») и finger («палец»). Наоборот, английский объединяет некоторые части тела, которые носители других языков считают разными понятиями. Даже проговорив двадцать лет по-английски, я иногда путаюсь с шеей. Кто-нибудь начинает говорить о своей шее, и я, воспринимая его слова буквально, считаю, что он говорит о шее – части тела, которая на моем родном языке называется «цавар». Но через некоторое время обнаруживается, что он говорил совсем не о шее. Вернее, он говорил о шее, но не о «цавар». То, что он имел в виду, было «ореф», задняя сторона шеи, часть тела, которую английский легкомысленно и опрометчиво объединяет с передней частью шеи в одно понятие. На иврите «шея» («цавар») относится лишь к горлу, в то время как задняя часть, «ореф», носит совершенно отдельное название и считается так же отличимой, как в английском «спина» от «живота» или hand от arm.²⁸

Природа теперь уступает культуре несколько менее охотно. Пусть нас мало волнует, зависят ли от культуры такие абстрактные понятия, как «разум» или «дух», но уже сложнее смиряться с тем, что местоимения вроде «мы» или части тела вроде «руки» или «шеи» тоже зависят от особых культурных условностей нашего общества. Но если набегу культуры в царство понятий начинают немного раздражать, все это лишь булавочный укол в сравнении с вмешательством культуры в область, которая будет занимать нас в первой части этой книги. В этой области языка нашествие культуры в царство понятий так оскорбляет и даже возмущает простой здравый смысл, что защитники природы десятилетиями сражались за свое дело до последней капли чернил. Вследствие чего эта область на 150 лет оказалась в центре конфликта между сторонниками природы и культуры, и конца этому пока что не видно. Это поле битвы – язык цвета.

Почему же именно цвет оказался в центре этого перекрестного огня? Возможно, дело в том, что культура выдает себя за природу в сфере восприятия, которую мы привыкли считать инстинктивной, гораздо успешнее, чем в любой другой области языка. Казалось бы – в отличии желтого от красного или в разнице между зеленым и синим нет ничего и отдаленно абстрактного, теоретического, философского, гипотетического или другого «ского». А поскольку цвета – один из основных параметров восприятия, то представление о них должно быть прерогативой природы. И все же границы в спектре расставлены довольно небрежно. Цвета образуют континуум: зеленый не становится синим в определенной точке, но постепенно переходит в синеву через миллионы оттенков зеленовато-синего, бирюзового, аквамаринного (см. таб. 11 на цветной вклейке). Но когда мы говорим о цветах, мы вводим явные границы внутри этой переливающейся ленты: «желтый», «зеленый», «синий» и так далее. Но по требованию ли природы мы делим цветовое пространство именно так? В самом ли деле понятия «желтый» и

²⁸ см. Haspelmath et al. 2005. Hand and Finger. В раннем иврите было различие между * (кисть) и (рука от запястья до плеча), а поздний все еще использует его в некоторых идиоматических выражениях. Но в разговорном языке * (кисть) часто используется для всей руки сразу. Подобно этому в английском языке есть слово паре (загрибок), относящееся к шее сзади, но оно ограничено в употреблении.

«зеленый» – универсальные константы для человечества, определенные биологической структурой глаза и мозга? Или это произвольные культурные условности? Можно ли эти границы установить по-другому? И почему вообще кто-то должен размышлять над такими заумными гипотетическими вопросами?

Как это часто бывает, дискуссия по поводу понятия цвета возникла не из неких абстрактных философских размышлений, а как следствие совершенно практических наблюдений.

Как показала серия открытий в середине XIX века, отношение человечества к цвету не всегда было таким понятным, и то, что кажется очевидным для нас, вызывало бесконечные трудности у древних. Последующие попытки отыскать источник «чувства цвета» были захватывающим приключенческим романом Викторианской эпохи, эпизодом в истории идей, своей безрассудной отвагой способным соперничать с любым исследователем XIX века. Цветовая экспедиция достигла самых отдаленных уголков Земли, запуталась в ожесточенных спорах того времени – об эволюции, наследственности и расах, – а во главе ее стояла пестрая компания неожиданных героев: знаменитый государственный деятель, чьи интеллектуальные подвиги в настоящее время почти полностью забыты, ортодоксальный иудей, которого собственные филологические открытия привели к самым неортодоксальным эволюционным воззрениям, глазной врач из провинциального немецкого университета, отправивший целое поколение в погоню за миражом, и преподаватель из Кембриджа, прозванный «Галилеем антропологии», который наконец, сам того не желая, вернул экспедицию на избранный путь.

Споры XIX века о том, чем именно мы отличаемся от древних – глазами или языком, обернулись в XX веке всеобщей войной за языковые понятия, в которой сошлись противоположные взгляды на мир – универсализм против релятивизма и нативизм против эмпиризма. В этой мировой войне «измов» спектр обрел тотемическую важность, поскольку сторонники как природы, так и культуры видели во власти над цветом залог контроля над языком в целом. То одна, то другая сторона объявляла цвет козырем в споре по более широкому кругу вопросов, и общепринятое мнение поэтому колебалось от одной крайности к другой – от природы к культуре, а в последние десятилетия обратно к природе.

Смена победителей в этой полемике делает цвет идеальной иллюстрацией борьбы природы и культуры за понятия языка. Иными словами, узкая с виду полоска цвета может служить лакмусовой бумажкой как минимум в вопросе о том, насколько глубоко сходство между способами людей выразить себя и насколько поверхностны различия – или наоборот!

* * *

Все сказанное могло создать впечатление, что в языках нет ничего большего, чем набор понятий и соответствующих им ярлыков. Но для того чтобы передавать трудноопределимые мысли, включающие запутанные отношения между различными понятиями, языку нужно гораздо больше, чем перечень понятий, – для этого нужна грамматика, сложные системы правил для организации понятий в связные предложения. Невозможно сколько слов без порядке о предложении передать правил без правил мысли даже грамматических в понятий связные угодно например. (В смысле: без грамматических правил, например без правил о порядке слов в предложении, невозможно передать связные мысли, даже если понятий сколько угодно.) И, как водится, дебаты между защитниками природы и воспитания, между нативистами и культуралистами, универсалистами и релятивистами разгорелись столь же яростно вокруг грамматики, как и вокруг понятий в языке. Закодированы ли правила грамматики – порядок слов, синтаксические структуры, структура слов, структура звуков – в наших генах или отражают культурные условности?

Сегодня, благодаря Ноаму Хомскому и вдохновленному им влиятельному направлению исследований, доминирует точка зрения, что большая часть грамматики языка – то есть всех

человеческих языков – является врожденной. Эта школа мысли, которая известна как нативистическая, утверждает, что правила универсальной грамматики закодированы в нашей ДНК: люди рождаются с мозгом, укомплектованным конкретным инструментарием сложных грамматических структур, так что детям не нужно учить эти структуры, когда они осваивают родной язык. Для нативистов, следовательно, грамматика отражает универсальную природу человека, и любые отличия между грамматическими структурами разных языков поверхностны и незначительны.

Однако, с точки зрения инакомыслящего меньшинства, мало свидетельств того, что какие-либо конкретные правила грамматики заранее смонтированы в мозгу, и нет необходимости вызывать к генам для объяснения грамматических структур, ведь проще и правдоподобнее объяснить их как продукт культурной эволюции и как средство коммуникации. В «Развертывании языка» я отстаивал последнюю точку зрения, показывая, как сложная система конкретных грамматических правил могла произойти от очень скромных зачатков, путем изменений, мотивированных такими характерными чертами человеческой природы, как лень (экономия усилий при произнесении) и потребность упорядочить мир.

Эта книга не будет останавливаться на грамматической стороне великой природно-культурной полемики, но есть один аспект грамматики, которому необходимо уделить пристальное внимание, потому что роль культуры в нем особенно явно и почти повсеместно недооценивают. Этот аспект – сложность. Отражает ли сложность языка культуру и общественное устройство его носителей, или это универсальная константа, определяемая человеческой природой? Если тема цвета была областью самых ожесточенных споров в дискуссии о понятиях, то в борьбе вокруг вопроса о сложности грамматики, несомненно, спорили меньше всего – а следовало бы. В течение многих десятилетий лингвисты всех направлений, а также нативисты и культуралисты придерживались одной и той же генеральной линии: все языки одинаково сложны. Но я утверждаю, что этот рефрен всего лишь пустое заклинание, и сложность некоторых областей грамматики отражает культуру носителей языка, причем часто неожиданными способами.

Язык как призма

Вопросы, рассмотренные в первой части книги, разожгли жаркие дебаты и бушующие эмоции. Но это была лишь буря в стакане воды по сравнению со штормами разногласий, которые окружают предмет второй части – вопрос о влиянии родного языка на наше мышление. Может ли роль языка выходить за пределы пассивного отражения культурных различий, может ли он быть активным инструментом принуждения, с помощью которого культура внедряет свои условности в наше сознание? Ведут ли разные языки своих носителей к разному восприятию? Не является ли наш конкретный язык призмой, через которую мы смотрим на мир?

На первый взгляд, такая постановка вопроса имеет смысл. Поскольку культура весьма свободна в определении понятий, то – в принципе – вполне резонно спросить, может ли наша культура влиять на наши мысли через вводимые ею языковые понятия. Но хотя в теории этот вопрос имеет полное право на существование, на практике даже намек на него заставляет большинство лингвистов, психологов и антропологов отшатнуться. Просто за этой идеей тянется багаж настолько позорной интеллектуальной истории, что одно лишь подозрение в причастности к ней может сразу заклеить любого как мошенника. Ведь какое бы то ни было влияние языка на мысли очень трудно доказать или опровергнуть эмпирически, поэтому данная идея традиционно открывала широкий простор для тех, кто любит блеснуть своими фантазиями без малейшей опасности быть пойманным полицией фактов. Как мухи на мед или философы на непознаваемое, самые вдохновенные шарлатаны, самые виртуозные мошенники, не говоря уже об орде обычных сумасшедших, слетаются, чтобы поразглагольствовать о влиянии родного языка на мышление его носителей. Вторая часть книги начинается с короткого примера из этого Декамерона плутовства и рассказывает о самом известном из аферистов такого рода, Бенджамине Ли Уорфе, который, не имея ни малейших доказательств, заставил целое поколение поверить, будто языки американских индейцев привели их носителей к совершенно иному, нежели наше, представлению о реальности.

Сегодня, отчасти из-за этого кошмарного наследия, самые уважаемые лингвисты и психологи либо категорически отрицают, что родной язык может иметь какое бы то ни было влияние на мышление его носителей, либо утверждают, что любое такое влияние в лучшем случае незначительно, даже ничтожно. Тем не менее недавние открытия тех бесстрашных исследователей, которые отважились применить строго научные методы к исследованию этой проблемы, показывают, каким удивительным может быть влияние специфических черт родного языка на мышление. Во второй части книги приводятся три примера, в которых такое влияние, как мне кажется, продемонстрировано наиболее убедительно. По ходу рассказа станет очевидно, что достоверно установленное влияние языка на мышление его носителей – радикально иного свойства, чем то, что внушалось нам в прошлом. Муза Уорфа витала на высших уровнях познания, фантазируя о том, как язык может определить способность носителей к логическим рассуждениям и как носители такого-то языка не были бы в состоянии понять такую-то идею, потому что их язык не делает такого-то различия. Факты, которые выясняются из недавних исследований, однако, гораздо более приземленные. Они касаются влияния языка на самые базовые функции психики: память, внимание, восприятие и ассоциации. И хотя эти аспекты, может быть, менее экзотичны, чем те, которыми нас потрясали прежде, мы увидим, что некоторые из них при всем том не менее поразительны.

Но сначала – отвлечемся ради битвы за радуго.

Часть I

В зеркале языка

Глава 1

Названия цветов радуги

Лондон, 1858 г. Первого июля Линнеевское общество в своей великолепной новой штаб-квартире в Берлингтон-хаус на Пикадилли будет слушать доклад по трудам Чарлза Дарвина и Альфреда Рассела Уоллеса, вместе представляющих теорию эволюции путем естественного отбора. Вскоре взметнется пламя и озарит интеллектуальный небосвод, не оставив в неприкосновенности ни одного уголка человеческого разума. Но хотя пожар дарвинизма довольно скоро настигнет нас, мы начнем не совсем с этого места. Наша история начнется несколькими месяцами ранее и несколькими улицами дальше, в Вестминстере, с довольно неожиданным героем. В сорок девять лет он уже видный политик, член парламента от Оксфордского университета, бывший канцлер казначейства. Но ему еще десять лет до поста премьер-министра и еще дольше – до признания одним из самых великих государственных мужей Великобритании. Надо сказать, последние три года достопочтенный Уильям Юарт Гладстон томился на скамье оппозиции. Но он не зря провел время.

Со всей своей легендарной энергией он посвящает досуг царству разума и всепоглощающей мыслительной страсти: античному барду, который «основал для рода человеческого высокую должность поэта и который построил на собственных принципах такое возвышенное и прочное здание, что оно до сих пор высится недостижимо над делом рук не только обыкновенных, но даже и многих необыкновенных людей»²⁹. Эпические поэмы Гомера для Гладстона – не что иное, как «самое выдающееся явление во всей истории собственно человеческой культуры»³⁰. «Илиада» и «Одиссея» были всю жизнь его друзьями и приютом в мире литературы со времен обучения в Итоне. Но для Гладстона, человека глубоко религиозного, поэмы Гомера были больше, чем просто литература.³¹ Они были его второй Библией, идеальной энциклопедией человеческого характера и опыта, показывающей природу людей в самой замечательной форме, которая только возможна без христианского откровения.

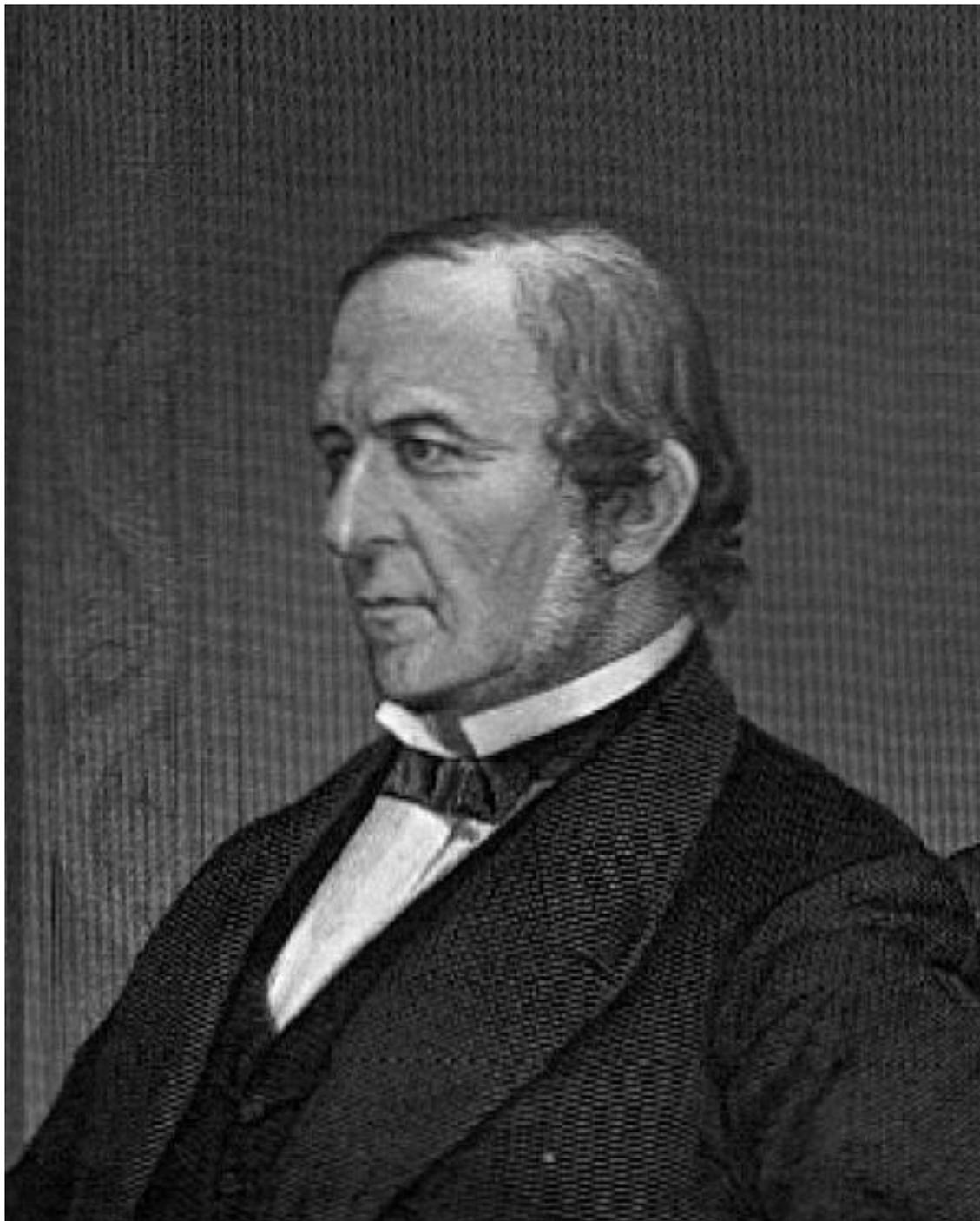
Монументальный *oeuvre*³² Гладстона «Гомер и его время» выходит как раз в марте того же года. Три солидных тома общим объемом свыше 1700 страниц охватывали энциклопедический спектр тем, от географии «Одиссеи» до чувства прекрасного у Гомера, от положения женщин в обществе того времени до моральной характеристики Елены. Одна скромная глава, упрятанная в конец последнего тома, посвящена любопытной и, казалось бы, маловажной теме: «Восприятие и использование цвета у Гомера». Тщательное изучение «Илиады» и «Одиссеи» показало, что в описаниях цветов у Гомера есть нечто неправильное, и выводы, к которым приходит Гладстон, столь радикальны и удивительны, что его современники оказались совершенно к ним не готовы и в основном их проигнорировали. Но пройдет время, и загадка Гладстона снарядит тысячи кораблей в научное путешествие, заметно повлияет на развитие по крайней мере трех академических дисциплин и разожжет войну за контроль над языком между природой и культурой, которой и через 150 лет не видно конца.

²⁹ Gladstone 1877, 388.

³⁰ Gladstone 1858, 1:13.

³¹ Wemyss Reid 1899, 143

³² Труд (*фр.*)



Уильям Юарт Гладстон (1809–1898)

Даже во времена, когда сочетание политической власти и величия разума было делом значительно более привычным, исследования Гладстона по Гомеру казались чем-то из ряда вон выходящим. В конце концов, он был активным политиком, и все же его трехтомное сочинение было, несомненно, не меньшим достижением, чем итоговый труд университетского профессора, посвятившего всю жизнь исследованию этой темы. У некоторых, особенно у коллег-политиков, привязанность Гладстона к классикам вызывала недовольство. «Ты так погряз

в вопросах о Гомере и греческих словах, – пенял ему однопартиец, – что не читаешь газет и не чувствуешь пульса наших сторонников»³³.

Но для широкой публики виртуозная гомерология Гладстона была предметом восхищения и обожания. Представленный в «Таймс» обзор книги Гладстона³⁴ был таким длинным, что его пришлось печатать в двух выпусках, и он занял бы в книге такого формата более 30 страниц. Эрудиция Гладстона не переставала впечатлять и интеллектуальные круги. «Немного в Европе общественных деятелей³⁵, – гласил вердикт одного профессора, – столь ясно мыслящих, зорких и высокообразованных, как мистер Гладстон». В последующие годы корифеи науки в Британии и даже на континенте неоднократно посвящали книги Гладстону – «государственному деятелю, оратору и ученому»³⁶, «неустанно призывающему изучать Гомера».

Конечно, тут было одно «но». В то время как поразительную ученость Гладстона, его владение текстом и логическими средствами повсюду восхваляли, реакция на многие его оригинальные идеи была совершенно уничтожающей. Лорд Альфред Теннисон писал: «Большинство людей думает, что [Гладстон] слегка помешался на своем хобби»³⁷. Профессор греческого языка в Эдинбургском университете объяснял своим студентам, что «мистер Гладстон может быть умным, вдохновенным, самым оригинальным и тонким толкователем Гомера³⁸ – всегда красноречивым и даже блистательным; но ему не хватает обоснованности. Его логика слаба, даже незрела, его тактические ходы, хотя полны изящества и блеска, совершенно лишены трезвости, осторожности и даже здравого смысла». Карл Маркс, сам горячо любивший греческую литературу и человек прямолинейный, писал Энгельсу, что книга Гладстона «доказывает неспособность англичан создать что-либо ценное в филологии»³⁹. А эпический обзор в «Таймс» (анонимный, как тогда водилось) путается в изошренных иносказаниях, чтобы не назвать Гладстона дураком в открытую. Обзор начинается заявлением, что «мистер Гладстон чрезвычайно умен. Но, к несчастью для чрезмерного ума, он наглядно иллюстрирует истинность поговорки, что противоположности сходятся». В завершение, почти через тринадцать тысяч слов, автор высказывает сожаление, что «такая мощь – и без результата, такая гениальность – не уравновешена, такая плодовитость – сплошные сорняки и такое красноречие – как медь звенящая и кимвал бряцающий».

Что же было не так с «Гомером» Гладстона? Для начала Гладстон совершил смертный грех – принял Гомера слишком всерьез. Он «благоговел перед ним, словно равнин», язвила «Таймс». В эпоху, которая гордилась своим вновь открытым скептицизмом, когда даже авторитет и авторство

Священного Писания стали подвергаться скальпелю немецкой текстологии, Гладстон маршировал под другой барабан. Он с порога отвергал теории, весьма модные в то время, что такого поэта, как Гомер, никогда не было и что «Илиада» и «Одиссея» были, как лоскутное одеяло, собраны из многих популярных баллад разных поэтов в разные времена. Он считал, что «Илиада» и «Одиссея» написаны одним невероятно гениальным поэтом: «Я нашел в схеме „Илиады“ довольно красоты, порядка и стройности, чтобы она стала независимым свидетельством существования личности и индивидуальности Гомера как автора».⁴⁰

³³ Myers 1958, 96.

³⁴ «Mr Gladstone's Homeric Studies», in *The Times*, 12 August 1858.

³⁵ John Stuart Blackie, in *The Times*, 8 November 1858.

³⁶ John Stuart Blackie, *Horae Hellenicae* (1874). E. A. W. Buchholz's *Die Homerischen Realien* (1871) посвящалась dem eifrigsten Pfleger und Förderer der Homerischen Forschung.

³⁷ Письмо герцогу Аргайлскому, 28 мая 1863 (Tennyson 1897, 493).

³⁸ John Stuart Blackie, in *The Times*, 8 November 1858. О реакции на работы Гладстона по Гомеру см.: Bebbington 2004.

³⁹ Письмо Маркса Энгельсу, 13 августа 1858.

⁴⁰ Morley 1903, 544. Илион, Уилуса и историческая основа «Илиады»: Latacz 2004; Finkelberg 2005.

Еще ужаснее казалось критикам настойчивое утверждение Гладстона, что в основе фабулы «Илиады» лежит исторический факт. Придавать какую-либо историческую ценность рассказу о десятилетней осаде городка, называвшегося Илион или Троя, после похищения греческой царицы троянским царевичем Парисом, также известным как Александр, просвещенные ученые мужи 1858 года считали детской доверчивостью. Как было сказано в «Таймс», эти рассказы «приняты всем человечеством как вымысел, почти того же порядка, что и баллады о короле Артуре». Излишне упоминать, что все это происходило за 12 лет до того, как Генрих Шлиман в самом деле нашел Трою в кургане над Дарданеллами; до того, как он раскопал дворец в Микенах, родном городе предводителя греков Агамемнона; до того, как стало ясно, что и Троя, и Микены были богатыми и могущественными городами в одно и то же время в конце второго тысячелетия до нашей эры; до более поздних раскопок, показавших, что Троя была разрушена сильнейшим пожаром вскоре после 1200 г. до н. э.; до того, как на раскопках были найдены метательные камни и другое оружие, доказывающее вражескую осаду; до того, как был выкопан глиняный документ, который оказался договором между хеттским царем и землей Уилуса; до того, как эта самая Уилуса была надежно идентифицирована как не что иное, как гомеровский Илиос (Илион); до того, как правитель Уилусы, которого в договоре называют Алаксанду, мог быть, таким образом, соотнесен с гомеровским Александром, троянским царевичем; до того – короче – как убеждение Гладстона, что «Илиада» была чем-то большим, чем лоскутки придуманных мифов, оказалось куда менее беспочвенным, чем воображали его современники.

Однако в том, что касается религии у Гомера, трудно относиться к Гладстону снисходительно, как сейчас, так и при жизни его современников. Гладстон был не первым и не последним из великих умов, чей религиозный пыл завел их в такие дебри, но попытки соединить языческий пантеон Гомера с христианским «Символом веры» выглядели особенно неудачно. Гладстон считал, что на заре истории человечеству было явлено откровение истинного Бога и, хотя знание этого божественного откровения позже исчезло и было извращено языческими ересями, следы его можно обнаружить в греческой мифологии. Он не обошел вниманием ни одного бога, силясь найти христианскую истину в пантеоне Гомера. Как пишет «Таймс», Гладстон «положил все силы на то, чтобы найти на Олимпе бога Авраама, пришедшего из Ура Халдейского, и бога Мелхиседека, пребывавшего в Салиме». Гладстон утверждал, например, что традиция тройственного божества оставила следы в греческой мифологии и проявлялась в делении мира натрое – между Зевсом, Посейдоном и Аидом. Он заявлял, что Аполлон представляет многие качества Самого Христа, и даже заходил так далеко, что предполагал, что мать Аполлона Латона (Лето) представляет Пресвятую Деву.⁴¹ «Таймс» не дала ввести себя в заблуждение: «Совершенно честный в своих намерениях, он выстраивает теорию и, независимо от того, насколько она смехотворна в реальности, делает ее убедительной в споре. Уж слишком он умен!»

Решимость Гладстона крестить древних греков оказала «Гомеру и его времени» медвежью услугу, так как из-за его религиозных заблуждений и фантазий было намного проще дискредитировать прочие его идеи. Это крайне прискорбно, потому что, хотя Гладстон и не вычислил, сколько ангелов может плясать на острие Ахиллесова копья, вменявшееся ему в вину слишком серьезное отношение к Гомеру вознесло его высоко над умственным горизонтом большинства его современников. Гладстон не считал рассказ Гомера точным изображением исторических событий, но, в отличие от критиков, он понимал, что поэмы отражают знания, верования и традиции своего времени и таким образом являются ценнейшим историческим источником, сокровищницей знаний для изучения древнегреческой жизни и мышления, авторитетным источником, тем более достоверным, что эта авторитетность бессознательна, адре-

⁴¹ Gladstone 1858, 2:178; см. также 2:153.

сована не потомкам, а современникам самого Гомера. Подробнейший анализ Гладстоном того, что говорится в поэмах и – что иногда еще важнее – чего там не говорится, привел его к замечательным открытиям, касающимся культурного мира древних греков. Самые потрясающие из этих находок касаются цветового языка Гомера.

Для читателя, привычного к тиши да глади современных академических писаний, чтение главы о цветах у Гладстона станет просто потрясением – от встречи с необыкновенным умом.⁴² Испытываешь благоговейный трепет перед оригинальностью, смелостью, тончайшим анализом и тем дух захватывающим ощущением, что каждый аргумент читателя, каждое его возражение Гладстон всегда опережает на два шага и подготовил многостраничный ответ еще до того, как оппонент успеет об этом подумать. Тем более поразительным кажется неожиданное заключение, к которому приходит Гладстон в результате своих изысканий. Если позволить себе некоторый анахронизм, можно сказать: он утверждал, что Гомер и его современники воспринимали мир в каком-то смысле ближе к черно-белому кино, чем к цветному.

На первый взгляд, утверждение Гладстона о том, что чувство цвета у греков отличалось от нашего, кажется столь же неправдоподобным, как и его идеи о хриstopодобном Аполлоне или Марии-Латоне. Ибо как мог так измениться базовый аспект человеческого восприятия? Никто, конечно, не отрицает, что между миром Гомера и нашим утекло много воды: за тысячелетия, разделяющие нас, возвышались и рушились империи, приходили и уходили религии и идеологии, наука и технология преобразовали наши интеллектуальные горизонты и почти всю обыденную жизнь до неузнаваемости. Но если в этом громадном море перемен мы и можем найти хоть одну гавань стабильности, один аспект жизни, оставшийся точно таким же, как и во времена Гомера – и даже в незапамятные времена, – то это будет, конечно, способность наслаждаться богатыми красками природы: синевой моря и неба, пылающим багрянцем восхода, зеленью свежей листвы. Если можно словом представить скалу стабильности в потоке человеческого опыта, то, несомненно, это будет вопрос всех времен: «Папа, почему небо голубое?»

⁴² Ученые, предшественники Гладстона, начиная со Скалигера в 1577 году, комментировали малочисленность описаний цвета у древних писателей (см. Skard 1946, 166), но никто до Гладстона не понимал, что различия между нами и древними заходят дальше случайных отличий во вкусе и моде. В XVIII веке, например, Фридрих Вильгельм Деринг писал (Doering 1788, 88), что «ясно, что в древности и греки, и римляне могли обходиться без многих названий цвета, от которых никак нельзя было воздерживаться в позднейшие эпохи, когда бесконечно разрослись инструменты роскоши. Ибо аскетическая простота таких безыскусственных людей питала отвращение к тому великому разнообразию цветов, используемых для одежды и зданий, которое позже смягчилось, и более утонченные люди стали заниматься им со рвением». (*Hoc autem primum satis constat antiquissimis temporibus cum graecos tum romanos multis colourum nominibus carere potuisse, quibus posterior aetas, luxuriae instrumentis in infinitum auctis, nullo modo supersedere potuit. A multiplici enim et magna illa colourum in vestibus aedificiis et aliis operibus varietate, quam posthac summo studio sectati sunt molliores et delicatioris homines, abhorrebat austera rudium illorum hominum simplicitas.*) А Гете в своем «Учении о цвете» (Goethe 1810, 54) объяснял про древних, что *Ihre Farbenbenennungen sind nicht fix und genau bestimmt, sondern beweglich und schwankend, indem sie nach beiden Seiten auch von angrenzenden Farben gebraucht werden. Ihr Gelbes neigt sich einerseits ins Rote, andererseits ins Blaue, das Blaue teils ins Grüne, teils ins Rote, das Rote bald ins Gelbe, bald ins Blaue; der Purpur schwebt auf der Grenze zwischen Rot und Blau und neigt sich bald zum Scharlach, bald zum Violetten. Indem die Alten auf diese Weise die Farbe als ein nicht nur an sich Bewegliches und Flüchtliges ansehen, sondern auch ein Vorgefühl der Steigerung und des Rückganges haben: so bedienen sie sich, wenn sie von den Farben reden, auch solcher Ausdrücke, welche diese Anschauung andeuten. Sie lassen das Gelbe röteln, weil es in seiner Steigerung zum Roten führt, oder das Rote gelbeln, indem es sich off zu diesem seinen Ursprunge zurück neigt.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.